

Леонид Николаевич Андреев
Из рассказа, который
никогда не будет окончен

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146636

Леонид Андреев. Из рассказа, который никогда не будет окончен

Леонид Андреев

Из рассказа, который никогда не будет окончен

Измученный жуткой неопределенностью дня, я заснул одетый на постели, когда жена разбудила меня. В руке у нее колыхалась свеча, и среди ночи она показалась мне яркою, как солнце. А за свечою колыхался бледный подбородок и неподвижно темнели огромные, незнакомые глаза.

– Ты знаешь, – сказала она, – ты знаешь: на нашей улице строят баррикады.

Было тихо, и мы смотрели друг на друга прямо в незнакомые глаза, и я чувствовал, как бледнеет мое лицо. Жизнь ушла куда-то – и снова вернулась с громким биением сердца. Было тихо, и пламя свечи колыхалось, и было оно маленькое, неяркое, но острое, как кривой меч.

– Ты боишься? – спросил я.

Бледный подбородок дрогнул, но глаза остались неподвижны и смотрели на меня не моргая, и только теперь я увидел, какие это незнакомые, какие это страшные глаза. Уже десять лет я смотрел в них и знал их лучше, чем свои, а теперь в них было новое, чего я не умею назвать. Гордость –

назвал бы я это, но там было другое, новое, совсем новое. Я взял руку: холодная, она ответила мне крепким пожатием, и в нем было новое, чего я не знал. Так еще ни разу не пожимала она моей руки.

– Давно? – спросил я.

– Уже с час. И брат уже ушел. Он, вероятно, боялся, что ты не отпустишь его, и ушел потихоньку. Но я видела.

Значит, это – правда: оно пришло. Я встал и почему-то долго умывался, как утром, когда шел на работу, и жена светила мне. Потом мы потушили свечу и подошли к окну на улицу. Была весна, был май, и в открытое окно ворвался такой воздух, какого никогда еще не было в старом огромном городе. Уже несколько дней стояли без работы фабрики и железные дороги, и свободный от угольного дыма воздух пропитался запахом поля и цветущих садов, быть может, росы. Я не знаю, что это пахнет так хорошо в весенние ночи, когда далеко-далеко уйдешь за город. И ни одного фонаря, и ни одного экипажа, и ни одного городского звука над бесконечной каменной поверхностью, – если закрыть глаза, то, правда, можно подумать, что это деревня. Лает собака! – вот! Я еще ни разу не слышал, как лает в городе собака, и засмеялся от счастья.

– Послушай, – собака!..

Жена обняла меня и сказала:

– Они там на углу.

Мы перегнулись через подоконник и там в прозрачной

темной глубине увидели какое-то движение. Не людей, а движение. Что-то ломали, что-то строили. Кто-то двигался, неуловимый, как тень. Вдруг застучало что-то: топор или молоток. Так звонко, весело – как в лесу, как на реке, когда чинят лодку или строят плотину. И, в предчувствии веселой, стройной работы, я крепко обнял жену, а она смотрела поверх домов, поверх крыш на молодой остророгий месяц, уже клонившийся к закату. Такой молоденький, такой смешной – как девушка, которая мечтает и боится сказать кому-нибудь о своих мечтах, и светит только для себя.

– Когда он станет полным...

– Не надо! Не надо, – перебила меня жена с непонятным мне испугом. – Не надо говорить о том, что будет. Зачем? Оно боится слов. Пойдем сюда.

В комнате было темно, и мы долго молчали, не видя друг друга, но думая об одном. И когда я заговорил, мне показалось, что это сказал кто-то другой: я не боялся, а у этого голос был хриплый, точно он задышался от жажды.

– Так как же?..

– А они?

– Ты будешь с ними, для них довольно матери. И я не могу.

– А я могу?

Я знаю, она не тронулась с места, но я почувствовал ясно: она уходит, она далеко – она далеко. И так холодно стало, и я протянул руки, но она отстранила их.

– В сто лет раз бывает у людей праздник, и ты хочешь меня лишиться его. За что? – сказала она.

– Но тебя могут убить. И дети наши погибнут.

– Жизнь будет милостива к ним. Но даже если и погибнут они...

И это говорила она, жена моя, женщина, с которой я жил десять лет! Еще вчера она не знала ничего другого, кроме детей, и полна была страха за них; еще вчера она с ужасом ловила грозные признаки грядущего, – что случилось с нею? Вчера, – но ведь я тоже забыл обо всем, что было вчера.

– Ты хочешь идти со мной?

– Не сердись! – Она думала, что я сержусь. – Не сердись! Сегодня, когда они там застучали и ты еще спал, я поняла, вдруг поняла, что муж, дети, все это – так, все это – пока. Я люблю тебя, очень, – она нашла мою руку и пожалала ее тем же новым, незнакомым мне пожатием, – но ты слышишь, они стучат? Они стучат, и как будто падают, падают какие-то стены – и так просторно, так широко, так вольно! Сейчас ночь, а мне кажется, что сияет солнце. Мне тридцать лет, и я уже старая, а мне кажется, что мне семнадцать лет, и я люблю кого-то первую любовью – такой огромною, такой безграничной любовью!

– Какая ночь! – сказал я. – Точно нет города. Правда, и я забыл, сколько мне лет.

– Они стучат, и это – как музыка, как пение, о котором я мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безум-

ной любовью, от которой хочется и плакать, и смеяться, и петь. Так просторно, так широко – не отнимай у меня счастья, дай мне умереть с теми, кто работает там и так смело зовет будущее, и в гробах будит погибшее прошлое.

– Времени нет.

– Ты говоришь?

– Времени нет. Кто ты? Я тебя не знал. Ты человек?

Она засмеялась так звонко, как будто ей было семнадцать лет.

– Да. Ведь и я этого не знала. И ты тоже человек? Как это странно и красиво: человек.

Давно уже было то, о чем я пишу, и те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись, – те не поверят мне: в те дни не было времени. Солнце восходило и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было. И много другого чудесного и великого произошло в те дни, и не поверят мне те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись.

– Нужно идти, – сказал я.

– погоди, я покормлю тебя. Ведь ты сегодня ничего не ел. И ты видишь, как я благоразумна: я пойду завтра. Отдам детей и найду тебя.

– Товарищ, – сказал я.

– Да, товарищ.

В открытые окна лился воздух полей и тишина, и изредка звонкий, веселый стук топора, а я сидел за столом и смот-

рел и слушал, и так загадочно ново было все, что хотелось смеяться. Я смотрел на стены, и они казались мне прозрачными. Точно всю вечность обнимая одним взглядом, я видел, как разрушатся они, и только один я был всегда и всегда буду. Все пройдет – а я буду. И все казалось мне странным и смешным – таким ненастоящим: и стол, и кушанье, и все, что вне меня. Прозрачным и легким, существующим только нарочно, только пока.

– Почему же ты не ешь? – спросила жена. Я улыбнулся:

– Хлеб – это так странно.

Она взглянула на хлеб, на черствый, сухой кусок хлеба, и почему-то лицо ее сделалось грустным. Все продолжая глядеть на него, она тихо поправляла руками передник, и голова ее немного, совсем немного повернулась в ту сторону, где спали дети.

– Тебе жаль их? – спросил я.

Она покачала головой, не отводя глаз от хлеба.

– Нет. Но я подумала о том, что было в жизни, – раньше было. Как это непонятно! И все, – она, удивляясь, как проснувшаяся после долгого сна, обвела глазами комнату, – и все так непонятно. Здесь мы жили.

– Ты была моей женой.

– А там наши дети.

– Здесь за стеною умер твой отец.

– Да. Умер. Умер, не проснувшись.

Заплакала, чего-то испугавшись во сне, самая маленькая.

И так странен показался этот простой детский крик, настойчиво требовавший своего – среди этих призрачных стен, когда там, внизу, строили баррикады.

Она плакала и требовала своего – ласки, каких-то смешных слов и обещаний, которые ее успокаивают. И быстро успокоилась.

– Ну, иди! – шепотом сказала жена.

– Мне бы хотелось поцеловать их.

– Боюсь, разбудишь.

– Нет, ничего.

Оказалось, старший не спал, слышал все и все понимал. Ему было всего девять лет, но он все понял – таким глубоким и строгим взглядом встретил он меня.

– Ты возьмешь ружье? – спросил он задумчиво и серьезно.

– Да, возьму.

– Оно под печкой?

– А ты откуда знаешь? Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня помнить?

Он вскочил на постели в своей коротенькой рубашонке, весь горячий со сна, и крепко обнял мою шею. И руки у него были горячие и такие мягкие и нежные. Я поднял волоса у него на затылке и поцеловал горячую тонкую шейку.

– Тебя убьют? – прошептал он в самое ухо.

– Нет. Я вернусь.

Но почему он не плакал? Он плакал иногда, если я просто уходил из дому, – разве и его коснулось это? Кто знает – так

много чудесного произошло в те великие дни!

Я взглянул на стены, на хлеб, на свечу, пламя которой все колыхалось, и взял жену за руку.

– Ну, до свидания.

– Да – до свидания.

И только, и я ушел. На лестнице было темно и пахло какой-то старой грязью; и, охваченный со всех сторон камнями и тьмою, ощупью находя ступеньки, я почувствовал новое, неведомое и радостное, куда я иду, – огромным радостным, всенаполняющим чувством.

1907 г.